

БЕСЕДЫ С ЧАЛИКОВЫМ

Как же научиться думать?..

Однажды у входной двери моей квартиры раздался звонок. Сказали, что пришел какой-то студент, как он говорит, по очень важному делу. Я просил пригласить.

— Здравствуйте, — сказал вошедший ко мне. — Я Чаликов, студент.

— А, — сказал я, — садись. Что это ты ко мне забрел? Какими ветрами?

Чаликов сел и в очень серьезном тоне заговорил так:

— Только я не за консультацией. Нет-нет, я по-серьезному.

— А что же консультация — это не серьезно?

— Я не о том, я, знаете ли, хочу научиться мыслить. Как мне научиться мыслить?

— Ишь куда метнул! — сказал я. — Чего это тебе приспичило?

— Знаете ли, — продолжал он лепетать довольно смущенным голосом, — мысль представляется мне чем-то таким глубоким-глубоким, ясным-ясным, светлым-светлым, а главное, простым. Да и точность так же. Чтобы было точно-точно и понятно-понятно, как таблица умножения. Ну и краткость тоже. Как это сделать? Что, по-вашему, тут предпринять?

Тут я понял, что мальчишка действительно пришел для серьезного разговора. Что-то он уж очень почувствовал, чем-то на него этаким повеяло, что-то ему померещилось из важного и нужного. Я сказал так:

— Слушай, Чаликов. Ты умеешь плавать?

— О, это мое любимое занятие в течение многих лет, и в детстве, и в юности. Я настоящий пловец.

— Ну а расскажи, как ты научился плавать?

— Да чего тут учиться? Тут и учиться нечего.

— То есть как это «нечего»? Разве не тонут люди от неумения плавать?

— Но ведь это дураки только тонут. Я же не полез сразу в глубину. Сначала берега придерживался. Бросишься, бывало, в речку, а ногами дно все-таки чувствуешь. Потом стал замечать, что, бултыхаясь в воде, в какие-то минуты уже не опираюсь о дно реки ногами, а держусь на воде не знаю как. В конце концов откуда ни возьмись у меня появились нужные движения руками и ногами, и я вдруг почувствовал, что плаваю...

— Чаликов! — вскрикнул я. — Да ведь ты молодец. Ты, вижу, из догадливых. И главная твоя догадка заключалась в том, что для того, чтобы научиться хорошо плавать, надо постепенно приучиться к воде. И раз ты это понял, то я тебе скажу так: хочешь мыслить — бросайся в бездонную пучину мысли. Вот и начнешь мыслить. Сначала, конечно, поближе к берегу держись, а потом и подальше заплывай.

— Позвольте, — сказал Чаликов. — Как же это так? Где его взять, это море мысли?

— История философии — вот море мысли.

— Значит, опять в вуз?.. Учебники читать?

— Постой... Я ведь тебе об этом пока еще ни словом не обмолвился. Я сказал о бездонном море мысли.

— А как же подступиться к нему?

— Но ведь ты же сам сказал: чтобы научиться плавать, нужно постепенно приучить себя к глубокой воде.

— Да, но как же это сделать?

— А вот я тебе скажу как. Ты знаешь, что такое окружающий нас мир?

— Ха, ну кто же этого не знает. Разве только психопаты?

— Ну если ты хорошо знаешь, что такое мир, научи меня. Я вот, например, не очень знаю.

— Ну, что такое мир? Мир — это вот что... — И Чаликов при этом сделал рукой какой-то неопределенно указующий жест.

— Ага, так мир — это, значит, мой письменный стол или книжные шкафы, что ли?

— Но почему же только это?!

— Но из твоего жеста рукой я понял, что ты указываешь на предметы в моей комнате.

— Нет-нет, зачем же? Мир — это и все другое.

— То есть как это «другое»? Земля как планета, что ли?

— Нет, почему же? Земля только часть мира, не весь мир.

— Ага, значит, догадался? Ну а Луна? Это мир или не мир?

— И Луна не мир.

— Ну а Солнце?

— И Солнце не весь мир.

— Ну а созвездие Большой Медведицы? Мир это, или опять скажешь, не мир?

— Конечно, и Большая Медведица тоже еще не мир.

— Постой, да ты мне не крути голову. И Земля тебе не мир, и Луна тебе не мир, так где же мир-то?

— Мир — это все. Это вообще все вещи, — ответил Чаликов покамест еще с некоторой уверенностью.

— Эка куда хватил! Как будто ты знаешь все вещи. Говори мне прямо: знаешь ты все вещи или не знаешь?

— Не знаю.

— Но тогда ты не знаешь и что такое мир.

— Да ведь только психические не знают, что такое мир. Ведь это же знают решительно все.

— Постой, постой, ты от меня не прячься в кусты. Ты мне скажи, знаешь ли ты, что такое мир, или не знаешь?

— Знаю. Только, правда, не могу сказать об этом толково.

— А раз толковости у тебя нет никакой, то вот давай и посмотрим, что другие говорят о мире. Ну вот если начать с самого первого по времени европейского философа, с Фалеса, то, по Фалесу, мир — это наша современная глубокая тарелка, плавающая дном кверху по воде. Скажи, пожалуйста, нравится тебе такое представление о мире?

— Вот так европейский философ! Это какой-то фантазер, а не философ.

— Пусть фантазер. А вот другой греческий философ, Анаксимандр, учил, что в небе существуют своего рода шины, наполненные огнем, и этот огонь прорывается из них в виде тех небесных светил, которые мы видим.

— О-го-го! Одно лучше другого.

— А вот Ксенофан учил, что Земля представляет собой неподвижное тело, которое бесконечно распространяется по всем сторонам и уходит в бесконечную глубину.

— Ну и ну! И это называется философия!

— А вот по Анаксимену Земля есть плоский диск, плавающий по воздуху, и небесные светила тоже плывут по воздуху вроде древесных листьев...

— Ну уж нет! Ведь это все какой-то вымысел, поэзия какая-то, а не философия.

— Но тогда позволь сделать один необходимый вывод, от которого ты уже не можешь отказаться. А вывод этот гласит, что ты уже бросился в воду и уже пытаешься плавать самостоятельно, без опоры ногами о речное дно.

— Как так?

— А так, что ты сразу, прямо с потолка, взял да и разнес миропредставления древних философов, которых все восхваляют как создателей небывалой и высочайшей культуры. На основании чего ты это сделал?

— Да разве нужны основания для опровержения таких бредней?! Ведь это очевидно само собой!

— Ладно. Тут важно только то, что ты сам раскритиковал огромный период в истории философии на основе полной очевидности. Даже здесь ты уже начал плавать чуть-чуть самостоятельно, то есть чуть-чуть самостоятельно мыслить. Но теперь хочу спросить тебя о другом. Ты читал Джордано Бруно?

— Нет, не читал.

— А вот у Джордано Бруно и вселенная бесконечна, и состоит из живой самодвижущейся материи, и Земля ходит вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, и миров вроде нашего — бесчисленное множество...

— Да?! Тут что-то такое есть. Тут не шины Анаксимандра и не древесные листья Анаксимена.

— А что тебе здесь особенно понравилось?

— Да взять хотя бы бесконечность вселенной!

— Бесконечность вселенной? А откуда ты узнал, что вселенная бесконечна?

— Но ведь это же опять ясно само собой!

— То есть как это ясно само собой? Мне, например, не очень ясно. Согласись, ясно тебе в этом вопросе только то, что в какой бы точке мироздания ты ни оказался и как бы далеко ни отлетел от Земли, все равно можно лететь еще дальше.

— Совершенно верно.

— Но тогда твоя бесконечность есть только отсутствие конца.

— Совершенно верно.

— Но такое определение бесконечности мне совсем не нравится, — сказал я. — Да и вообще, разве можно определить что-нибудь при помощи отсутствия чего-нибудь. Отрицание чего-нибудь еще не есть определение. Если о китайском языке ты знаешь только то одно, что ты не знаешь ни того, что китайский язык существует, ни того, что его не существует, то это не значит, что китайского языка не существует или что он есть бесконечность.

На это мой собеседник ответил:

— Но ведь ясно, что бесконечность — это то, что не имеет конца!

— Но ведь все-таки бесконечность есть нечто определенное или, по крайней мере, есть просто нечто!

— Конечно!

— Но если это есть нечто, то что же оно такое, в конце концов? Безрукость и безухость тоже есть нечто, но это только потому, что всем известны и руки, и уши. Да и то отсутствие чего-нибудь говорит мне очень мало. И тут то же. Бесконечность мира есть отсутствие в нем конца. А под отсутствием конца ты понимаешь, видимо, отсутствие пространственной границы...

— Да.

— Значит, ты знаешь, что такое пространственная граница мира?

— Нет, такой границы я не знаю.

— Но тогда получается, что ты говоришь о безрукости, не зная, что такое рука.

Чаликов здесь несколько смутился.

— Да и вообще, Чаликов, почему ты отождествляешь конечность с наличием границы?

— А как же мне думать иначе?

— Вот представь себе шар. И представь себе, что по его поверхности ползет муравей. Ведь сколько он ни будет ползти по этому шару, он нигде не найдет границы для своего движения. И шар в этом смысле будет для него совершенно безграничным. Тем не менее сам-то шар вполне измерим в отношении поверхности и даже обладает вполне конечной величиной. Так ли это или не так?

— Как будто бы так.

— Но если это действительно так, то ты должен понять современных ученых, которые утверждают не только совместимость безграничности и конечности мира, но по которым только так и может быть. В своем путешествии по миру ты нигде не найдешь ему границы, и поэтому ты думаешь, что мир действительно бесконечен. А на самом деле он весьма даже конечен, хотя двигаться по этому миру ты можешь целую бесконечность. Более того, этот конечный мир может расширяться, и ученые даже вычисляют, с какой скоростью происходит это расширение.

— Позвольте, позвольте. Вернемся к вашему муравью. Мне хочется спросить: а почему бы этому муравью не отделиться от шара, по которому он ползет, и не взлететь в то пространство, которое уже не есть шар, а только пока еще окружает этот шар?

— Взлететь, конечно, можно, — сказал я. — Но ведь это значило бы для муравья перестать быть плоскостным существом и перестать ползать по поверхности шара, а взлететь в какое-то новое пространство, уже не плоскостное, то есть взлететь в какое-то новое измерение.

— Конечно.

— Но тогда и тебе тоже будет необходимо оказаться в пространстве какого-нибудь высшего измерения, например, хотя бы в четырехмерном пространстве. Тогда — ты действительно мог бы судить о пространстве трех измерений, в котором ты движешься. А иначе тебе просто невозможно будет сказать, бесконечно ли на самом деле то пространство, в котором двигаешься, или, может быть, вполне конечное.

— Да, да! Вот об этом-то я и подумал. Ведь и на самом деле, судить о трехмерном пространстве можно только с точки зрения четырехмерного пространства, а об этом последнем — еще с точки зрения пятимерного пространства. И так далее.

— Но тогда ты не должен считать уж такими последними глупцами древних философов, которые тоже умели совмещать бесконечность мира и его конечность, вечное движение по мировому пространству и в то же самое время его вполне пространственную ограниченность.

— Но ведь тогда надо будет признать, что силою самого пространства я не могу выйти за его пределы.

— Правильно, правильно. Ты двигаешься по мировому пространству, но, доходя до предполагаемой его пространственной границы, ты не можешь выйти за пределы этой границы, а начинаешь двигаться по периферии мирового целого или как-нибудь еще. Ведь говорят же физики, что световой луч, пущенный в мировое пространство, после известного времени возвращается в ту же самую точку, откуда он начал двигаться, но только с другой стороны.

Чаликов покраснел от возбуждения и продолжал говорить совсем увядшим голосом:

— Ага. Но значит, говоря попросту, мировое пространство имеет какую-то свою собственную структуру, и мы действительно не можем выйти за пределы мира, как и козявка, помещенная в банке, не может выйти за пределы банки, хотя может двигаться бесконечно.

— Так, так, — сказал я. — Структура — да. Это самое главное. Ведь без структуры нет никакой раздельности. А если в предмете нет никакой раздельности, то это значит только то, что мы не можем приписать ему никаких свойств. Ведь всякое свойство предмета уже вносит в него какую-то раздельность.

— Да, да, да! Это так. Но тогда меня начинает беспокоить другое. Мне приходит мысль: не обладает ли определенной структурой также и то пространство, в которое я верил до сих пор и с точки зрения которого называл глупцами всех древних?

— Несомненно, так. Ведь ты только представь себе: твое пространство бесконечно, твое пространство нигде не имеет никакой пространственной особенности, то есть оно везде однородное, нигде не оформленное. Да еще прибавь к этому, что космическое пространство абсолютно темное, то есть, прямо-таки сказать, черное. Да кроме того, температура космического пространства, как говорят, двести семьдесят три градуса ниже нуля по Цельсию. В этой страшной бесконечности даже бесчисленные галактики и скопления неведомых светил кажутся заброшенными в одиночество и пустоту. При механической связанности всех небесных тел эта бесконечность пахнет каким-то трупом. Ну и структура же у тебя мирового пространства! Это не структура, а какая-то тюрьма, если не прямо кладбище.

— Да ведь оно, конечно, вроде этого, — сказал Чаликов, но уже не таким упавшим голосом, а с некоторой надеждой на выход из тупика. — Однако не я же один так думаю?!

— А кто еще так думает?

— Да вот учебники так думают.

— Учебники! Так зачем же ты приходишь ко мне, если ты мыслишь только по учебникам, да еще по плохим или допотопным? Ведь ты потому ко мне и пришел, что одних учебников тебе не хватает. Кроме того, что учебники зачастую излагают предмет так, что сам собой напрашивается вывод о бесконечном, однородном, непрерывном и лишенном всякой малейшей кривизны пространстве. Однако это не больше и не меньше как миф, созданный Ньютоном только в XVII веке. Да и просуществовал он самое большее два столетия. А теперь этот миф исповедуют лишь учебники, да и то школьные, да и то не все.

А уже учебники для высшей школы рисуют дело в гораздо более сложном виде. Ну а публика... Она, конечно, всегда плетется в самом хвосте передовой науки. Значит, ты бранил древних с точки зрения того узенького и маленького подхода, который сам уже давно похоронен в передовой науке. И немудрено, что с маленькой, узенькой и ничтожнейшей точки зрения все тысячелетия человеческой мысли трактовались тобой как нечто детское, глупое и коренным образом противоречащее научному знанию. Вот посмотри-ка на пространство иначе, не так, как приучила тебя твоя косность мысли. Тогда, может быть, и древние покажутся тебе не столь глупыми.

— Но ведь тогда нужно древних изучать заново. Нужно все, что мы знаем о них, перевернуть на совершенно обратное?

— Вот и посмотри, вот и переверни, а уж потом будешь ругаться.

— Но, вероятно, это будет очень долгое занятие — пересматривать материалы о пространстве и времени, бывшие в науке до эпохи Ньютона.

— Но ведь ты хотел учиться мыслить, то есть хотел учиться плавать по безбрежному морю. Вот и бросайся в море, вот и начинай плавать. Зато мыслить будешь. Понял?

— Понял, — сказал Чаликов, почесав себе затылок. — Но ведь работища-то предстоит какая!

— Конечно. Мы ведь и условились с тобою понимать человеческую мысль как безбрежное море. Вот и давай

— Понял. Очень даже хорошо понял. Но только тут-то и возникает у меня один вопрос, который, как мне кажется, будет в нашей сегодняшней беседе уже последним вопросом. Ведь смотрите, как дело обстоит. Я ведь пришел к вам, как вы знаете, с намерением узнать, что значит хорошо мыслить. Но наш разговор как будто бы уклонился несколько в сторону. Мы стали говорить не о мышлении вообще, но о том его специфическом преломлении, которое необходимо для понимания, конечен ли мир в пространстве и времени, или бесконечен. А вот само-то мышление? Ведь я именно ради мышления к вам и пришел.

— Ну, если только это, то я тоже скажу тебе просто и кратко. Можешь ли ты мыслить какой-либо предмет, не отличая его от другого предмета?

— Но об этом и говорить нечего.

— Но если различать, то, значит, и отождествлять или, по крайней мере, как-нибудь объединять?

— Разумеется. Иначе ведь будет хаос.

— Хорошо, хорошо. А если оно не объединяется, тогда как быть?

— Тогда, значит, получается противоречие. Но с противоречием нельзя же оставаться навсегда. Тогда, значит, необходимо еще как-то и преодолевать противоречия в предмете, для того, чтобы была правильная мысль об этом предмете.

— Конечно, да. И притом не только противоречия, когда мы говорим «белый» и «небелый», но и целые противоположности, когда мы говорим «белый» и «черный». А ведь разрешить-то такую противоположность ничего и не стоит. Если я тебе скажу «цвет», то в этом «цвете» будет и «белое», и «черное», и вообще какое угодно по цвету.

— Значит, мыслить предмет — это уметь отличать его от всего другого, но вместе с этим отличием также и соединять его со всем прочим, преодолевая возможные на этом пути противоречия и противоположности.

— Молодец, правильно сказал. Но ведь и этого еще мало для мысли.

Ведь мыслить — всегда значит отвечать на вопрос «почему». Без этого «почему» и без ответа на него тоже ведь не получается мышления. Но тогда преодоление всех возможных противоречий и противоположностей всегда должно быть ответом на вопрос «почему». Если я объединил противоположность белого и черного в одном понятии цвета, то и для этого, очевидно, у меня должны быть какие-то основания? И мыслить не значит ли полагать основания и выводить из них следствия?

— О, это замечательно. Это так только и может быть. Но тогда наш анализ, приведший нас к отождествлению конечности и бесконечности, очевидно, есть только проблема, которую мы должны разрешить.

— И не только проблема, — сказал я запальчиво, — если у тебя будут одни только проблемы, то ведь это не будет выходом из тупика. Проблема в самой себе должна содержать основание для ее разрешения. Она ведь только принцип мышления, а не его результат.

— Да, — говорил Чаликов не без восторженности. — Да, да, да! Вот именно: везде проблемы и везде основания для их разрешения. Вот это тоже здорово. Пожалуй, это ведь и значит просто мыслить.

— Да, — сказал я с чувством успокоения. — Но теперь позволь также и мне задать вопрос, который я тоже считаю заключительным. Вопрос вот какой. Везде ли, или, лучше сказать, всегда ли проблемы одни и те же?

— Но как же это может быть? Проблемы всегда, конечно, разные.

— Хорошо. Но разные в каком смысле? Ведь ты пришел ко мне с вопросом о мышлении не в какой-нибудь отдельной области современной науки. Эта область у тебя есть, ты имеешь свою профессию, ты знаешь, как разрешать свои профессиональные проблемы. Ведь не в этом дело. Мы же с тобой хотели плавать по безбрежному морю мысли. А разве это возможно без истории?

— То есть вы хотите сказать, без исторических проблем?

— Тут прежде всего важны исторические горизонты. А ведь без этого и плавание по морю не получится. Ты заговорил о ньютоновском пространстве и времени. А знаешь ли, что это невинное ньютоновское пространство и время, которое показалось тебе в начале нашего разговора столь очевидным, было в XVII веке результатом революции в философии? Я тебе скажу, что до Декарта никто и не ставил на первом плане мышление, а уже на втором плане бытие, да хорошо еще, если на втором плане. А бывало и того хуже. Вот Декарт взял да и поверил не объективному бытию, а своему собственному субъекту, а так как человеческий субъект, взятый сам по себе, ненадежен и вечно колеблется, то Декарт и нашел свою основную исходную точку зрения в своем собственном человеческом сомнении. Нужно, говорил он, решительно во всем сомневаться. Но ведь сомневаться — значит мыслить, а мыслить — значит существовать. Вот и получилось у Декарта, что все существующее допускается или, по крайней мере, интересно, только в меру своей мыслимости. И если продумать эту позицию до конца, то в мире важен не сам он, этот мир, а важно то, что мы о нем мыслим, и человеческий субъект тоже важен не сам по себе, но больше в меру самой его мыслимости. Ну а о Боге и говорить нечего. И получилось: совершенно ничто, в конечном счете, нереально, совершенно ничто не обладает своей субстанцией, которая не зависела бы от нашей мысли, то есть от субъективных воззрений человека. Вот тебе что значит историческая проблема. Поэтому, если ты всерьез хочешь ставить проблемы и их решать, для того, чтобы научиться мышлению, то ты лучше бери исторические проблемы, историю мышления, историю философии. Вот тогда и предстанет перед тобой целое множество исторических картин, то есть исторически общественных мировоззрений. Только тогда ты и поплывешь по безбрежному морю. А иначе ты будешь только болтаться в какой-то мелкой речке, которая доступна всем детям и которая не требует умения плавать.

— Но простите меня, — опять залепетал Чаликов. — Ведь тогда получится, что я разрешил проблему только для того, чтобы поставить еще новую проблему, и так далее без конца.

— Но ведь так же оно и должно быть, если море действительно безбрежное. Плавание по нему не страшно, если сохраняется ориентировка на берег, а если не на берег, то на картину небесного свода, на положение звезд и вообще на все, чем пользуются моряки. Потому без всякого страха и сомнения бросайся-ка в это море. И вот, например, приходи-ка ко мне через месяца два-три с материалами о пространстве и времени или о бесконечности и конечности,

такими, которые ты найдешь хотя бы в древности. Как разыскивать эти материалы, я тебе скажу. Но только помни, что мы говорили о предрассудках, и только помни, что мы говорили о специфике каждой исторической эпохи. Объедини все материалы избранной тобой эпохи в таком виде, чтобы получился ее единый принцип, ее специфические проблемы, а потом изложишь те ответы, которые данная эпоха давала по установленной тобою проблеме.

— Хорошо. До чрезвычайности вам благодарен. Пойду мыслить и плавать. И, разрешите, потом скажу вам, что у меня получилось.

— Размышляй, Чаликов, размышляй. До свидания.

— До свидания, — возбужденно сказал Чаликов. — Пойду размышлять. Довольно жить по учебникам. Хватит! Надо и самому копошиться.

И думать и делать

— А, это ты опять? Здравствуй, Чаликов. Что-то ты ко мне рановато пожаловал. Неужели ты все продумал?

— Да какое там продумал! Только еще больше запутался.

— Что-то, я вижу, у тебя мозг не того...

— Очень даже того. Не знаю, куда и деться. Вот мы с вами говорили, что надо мыслить. Но еще когда уходил в прошлый раз от вас, уже на лестнице меня вдруг как ударило в голову: а дело, а дело-то где? Мыслить хорошо. А кто будет работать? Вот и сейчас у меня сверлит в мозгу это наше мышление без делания. С тем вот и пришел к вам опять.

Тут я забеспокоился и даже стал говорить с Чаликовым не без волнения.

— Постой, постой! Да когда же я учил такому? Мышление, выходит, одно, а дело делать — совсем другое?! Никак не могу понять, почему такое рассуждение тебе пришло в голову?

— Потому и пришло, — сказал Чаликов запальчиво. — Я просто-напросто не понимаю: что значит дело делать?

— Но я вижу, ты под делом что-то особенное понимаешь...

— Не особенное, а самое простое. После нашего прошлого разговора я вдруг решил, что дело не в мышлении, а в делании. А как надо делать, вот этого я и не понимаю. Объясните и спасите утопающего.

— Чего ты не понимаешь? Не понимаешь того, к примеру, что нельзя быть пройдохой?

— Почему пройдохой? — продолжал наступать Чаликов. — Дело делать не значит быть пройдохой. Да и без меня пройдох достаточно.

— Ага, так-так. Значит, ты уже кое-что понимаешь. А проницатель ты хочешь быть? Или, может быть, ты хочешь быть пролазой, рвачом, проходимцем, жуликом, карьеристом или, вообще говоря, дельцом?

Чаликов беспорядочно и даже как-то нервозно замахал на меня руками, как будто отрешиваясь от злого духа.

— Ну что мы будем здесь об этом говорить! — сказал он нетерпеливо. — Ведь не из-за этих же пустяков я к вам пришел.

— Вот и хорошо, — наставительно сказал я. — Значит, ты кое-что в делании понимаешь.

— Но я же не понимаю самого главного, — настойчиво долбил Чаликов.

— Кстати, а не считаешь ли ты, что находить где-нибудь самое главное — это уже мыслить?

— Да, мыслить надо, — продолжал Чаликов. — Я ведь не против мышления. Я только не знаю, что значит дело делать.

— Ну хорошо, — сказал я. — Но ведь мыслить — значит вырабатывать принципы.

— Конечно, без принципов нельзя, — сказал он. — Ведь я же не какой-нибудь червь или клоп. Да и у них, пожалуй, есть свои принципы, только что неосознанные.

— Вот-вот, — сказал я не без торжества. — Значит, говоришь, принципы? Так после этого я тебе прямо скажу, что ты уже понял, что значит дело делать.

— Э, нет, — не согласился Чаликов. — Ну откуда мне взять самые-то эти принципы? Если бы я знал принципы дела, то мог бы и самое дело делать.

— Хорошо, — продолжал я по возможности хладнокровно. — Значит, дело за принципами?

— Где мне взять эти принципы? Я опять и опять хочу спросить, — сказал Чаликов не без раздражения.

Но тут я подумал, что нужно еще кое-что уточнить.

— Ты профессионал? — спросил я.

— Да ведь это же неважно. Ну пусть я профессионал или хочу стать профессионалом. Разве это имеет какое-нибудь значение?

— А это вот какое имеет значение. Работать по своей профессии — значит ли дело делать?

— Но этого одного, думаю, мало...

— Ну, а скажи мне, — напирал я. — Если ты хочешь дело делать, то значит ли это, что ты поступаешь бескорыстно? Ты делаешь дело для торжества самого дела и делаешь это бескорыстно. Значит ли это, что ты и всерьез дело делаешь?

— Пожалуй, бескорыстия мало, — сказал Чаликов, и я заметил, что у него рука потянулась почесать в затылке. — Нужно еще что-то. Если пьяница напивается, то ведь пьяное состояние для него вполне бескорыстно. Оно ведь имеет для него значение само по себе. А если я гуляю, глазею на природу, и она мне нравится, то ведь это у меня тоже бескорыстное чувство. А что с этого толку? И значит ли это, что гулять разиня рот и бескорыстно глазеть на природу — это есть дело делать?

— Смотри, Чаликов, не упрощаешь ли ты вопрос, — забеспокоился я. — Ведь тогда получается у тебя, что создавать и воспринимать художественное произведение — это тоже значит бездельничать. А вот посмотри-ка. Люди

молча и неподвижно сидят на концерте и с затаенным дыханием слушают симфонию и уж тем самым, конечно, не преследуют никакой иной цели, как только бескорыстного слушания совершенно бескорыстного музыкального произведения. Значит, по-твоему, люди в этом случае тоже бездельничают?

Чаликов удивительным образом стоял на своем и неожиданно для меня прямо перешел в наступление. Он заговорил так:

— А когда музыкант тратил много лет, чтобы производить свой бескорыстный эффект, разве это не значит, что ему приходилось очень много трудиться, во многом себе отказывать, преодолевать все невероятные трудности музыкального обучения и вообще вариться в самой корыстной гуще жизни, чтобы достигнуть возможности создавать бескорыстный эффект своим музыкальным исполнительством? А разве эти люди на концерте не перестали быть людьми в житейском смысле слова, разве они не отошли от забот жизни только в эти моменты слушания музыки? Разве они...

Но тут я уже перебил Чаликова и заговорил тоже не без запальчивости.

— Как? — почти вскричал я. — Значит, по-твоему, художественное бескорыстие совсем безжизненно, никак не влияет на жизнь, никак не преображает нашу жизнь и не создает для нас светлого и легкого настроения, которое делает нас бодрыми в жизни, помогает переносить бытовую дребедень, делает нас здоровыми, крепкими и участливыми? Ведь художественное бескорыстие делает нас...

Тут опять мой Чаликов расхорохорился и перебил мою фразу. Он взволнованно продолжал:

— Но ведь это же и значит, что художественное бескорыстие вовсе не есть бескорыстие. Это же и значит, что оно корыстным образом влияет на нашу жизнь. Согласен: корыстолюбие здесь более тонкое. Но раз дело касается жизни и говорится о художественном бескорыстии, то ясно, что это вовсе не бескорыстие. Все равно это есть то или иное воздействие на жизнь, а значит, и корысть, пусть хотя бы и не обывательская.

— Ладно, — сказал я ради успокоения, — хорошо. Но почему ты придрался к бескорыстию? Ведь вопрос у нас ставился о том, что значит дело делать. При чем тут бескорыстие?

— А при том, — сказал Чаликов, — что для делания дела бескорыстие, конечно, необходимо, но, как мне кажется, его совершенно недостаточно. Если я, скажем, водопроводчик, то, конечно, должен уметь и иметь желание делать это хорошо. Это для меня в данном случае мой бескорыстный идеал.

— Теперь я тебя спрошу вот о чем. Ты человек, как я вижу, деловой, и всякая анархия тебе чужда. Но ведь, чтобы не было анархии, нужен порядок. А чтобы был порядок, для этого должны быть принципы и то, что подчиняется этим принципам. Другими словами, дело делать — не значит ли это точно исполнять распоряжения от вышестоящего распорядителя, который по самой своей сущности как раз и должен устанавливать порядок?

— Хе, хе, хе, — ехидно заскулил Чаликов. — Эта штука еще забористее всякого бескорыстия будет.

— Ну вот опять о бескорыстии. При чем тут бескорыстие?

— Но разве вы не понимаете, что, подобно бескорыстию, исполнение требований, конечно же, необходимо, но одного исполнения тоже ведь мало, если ставить своей целью дело делать.

— Но тогда так и скажи, что во всем нужна мера и ты напрасно захихикал.

— Я захихикал потому, что вспомнил чеховского человека в футляре.

— Ну и нашел же, что вспоминать, — сказал я. — При чем тут чеховский Беликов?

— Но ведь Беликов тоже только и делал, что исполнял приказы. И у него тоже ведь был свой принцип — «как бы чего не вышло».

— Следовательно, ты хочешь сказать, — заговорил я, понявши, в чем дело, — что как от бескорыстия до тунеядства один шаг, так и от угодливого исполнения приказаний тоже один шаг до человека в футляре. Но знаешь что? Мы с тобой все время топчемся на одном и том же месте. Это не так, а вот это тоже не так, а вот это третье — опять не туда. Все это только подходы к дому. Но не пора ли войти в самый дом?

— Конечно, все это только подходы. Но удивительным образом почему-то все-таки никак не удается открыть дверь и войти в дом.

Тут я догадался, куда метит Чаликов, и уже безбоязненно заговорил на темы, которые раньше избегал затрагивать.

— Все это от нашей узости, — заговорил я более уверенным тоном. — Мы с тобой захотели определить, что такое дело делать. А оказалось, что дело делать — это вовсе не значит пользоваться житейскими понятиями, хотя бы и нужными, хотя бы и трижды необходимыми, хотя бы и четырежды полезными и деловыми. Надо выйти за пределы обыденщины, и это нужно делать для осмысления самой же обыденщины. Конечно, дело делать должно быть нашей обыденщиной. Но только ли ею?

— А ведь если не обыденщина, тогда ведь остается только сама действительность. А как ее охватить? Ведь она же, небось, бесконечна. А дело делать приходится нам, вполне конечным существам, и среди тоже вполне конечных вещей.

— Этого, Чаликов, не бойся, — поторопился я успокоить собеседника. — Нашего брата бесконечностями не запутаешь. Не боятся же математики своих бесконечных величин. Наоборот, если их послушать, то только благодаря операциям с бесконечными величинами и можно понять конечные процессы в конечных промежутках времени и пространства.

— Бесконечности я тоже не боюсь, — сказал Чаликов. — Но я все-таки побаиваюсь действительности. В бесконечности мы не потонем, хотя бы по примеру математиков. Но вот действительность не есть ли то, в чем можно потонуть?

— Не бойся, не бойся, — сказал я. — Ведь и действительность тоже можно мыслить.

— Мыслить? — спросил Чаликов и продолжал: — Ну да. Ведь нам же на лекциях долбили, что мышление есть отражение действительности. Так ли это?

— Конечно, так. Безусловно, так. Я только не понимаю, о каком отражении ты говоришь. Если, например, я брошу

мяч в стену и стена отразит его, значит ли это, что стена мыслит мой мяч?

Тут Чаликов рассмеялся, только уже не ехидно «хе, хе, хе», а уверенно и даже как-то торжественно «ха, ха, ха».

— Понимаю, — сказал он. — Речь идет, конечно, не о механическом, но о смысловом отражении. Кто-то должен еще понять, что это отражение есть именно оно само, и только тогда оно будет иметь смысл и будет не механическим, но смысловым отражением. Самое важное, дорогой учитель, это понимание. Я вот думаю, что есть много таких научных работников, которые разделяют свой предмет на такие тонкости и детали, что уже теряют смысл целого. По поводу таких ученых я всегда думал так: если моль разъела и съела всю шубу, значит ли это, что она эту шубу поняла и изучила?

Эта чаликовская мысль мне понравилась, и я продолжал в той же тональности:

— Но ты понимаешь, какой ответственный вопрос ты сейчас поставил? Ведь ты же поставил вопрос о целом и частях и сначала покамест в самой же действительности. Действительность существует прежде всего глобально, нерасчлененно. Но та же самая действительность и тут же рядом со своей глобальностью является одновременно и как единораздельная цельность, как система отношений. Эта система отношений уже в самой же действительности есть отражение ее самой как глобальной и в ней же самой, которая становится не только глобальной, но одновременно и единораздельно-целостной. Как я понимаю, эта единораздельная цельность, взятая сама по себе, и есть отражение действительности. А когда эта единораздельная цельность воспримется и построится также и нашим мышлением, то вот это и значит, что мышление есть отражение действительности.

— Ага, — одобрительно ответил мой собеседник. — Дело здесь попросту в том, чтобы избежать того пугала, которое вы называли субъективизмом и которое заключается в том, чтобы мыслительные формы не мыслить как укорененные в самой же действительности, но как созданные только человеческим субъектом и только для своего субъективного использования.

— Правильно, правильно, — сказал я. — Ведь если наши мыслительные формы не внедрены в нас самой же действительностью, то это значит, что в самой действительности не имеется единораздельной целостности отношений, что вся действительность — это только наше марево и галлюцинация, что она есть пустота и дыра. Вот почему я всегда считал, что весь западноевропейский субъективизм есть сплошная мировая хлестаковщина.

— Гы, гы, гы, — весело зарычал на это Чаликов.

— Но тогда, — сказал я, ободренный его рычанием, — ты должен признать также и то, что мышление бесконечно.

— А вот тут-то мне невдомек. Объясните.

— Ну что же тут объяснять? Ведь действительность бесконечна? Бесконечна. А мышление есть отражение действительности? Да, отражение. Но тогда и мышление должно быть бесконечным.

— А вас не смущает, что сам-то человек чересчур ограничен и того и смотри заболел и умер? Да и в течение своей временной жизни он тоже мыслит далеко не всегда и далеко не так, как надо. Как же это вдруг человеческое мышление бесконечно?

— Объяснять это можно было бы тебе очень долго... Но скажи: солнце ведь отражается в капле воды?

— Ну да, ну да, — поспешил с ответом Чаликов. — Это ясно. Я сразу понял, что усомнился напрасно.

— Усомнился ты напрасно. Но только имей в виду, что символ отражения солнца в капле воды — это вовсе не только детская картинка. Если бы я тебе стал доказывать, то я бы тебе сказал, что расстояние между единицей и двойкой можно дробить и пополам, и на четыре части, и на восемь и на сколько угодно частей, и никогда до нуля не дойдешь. Между двумя рядом стоящими числами натурального ряда залегает не просто единица, а целая бездна величин, на которые она дробится, залегает в полном смысле бесконечность. Все конечное только потому и существует, что оно пронизано бесконечностью.

— Да, мы касались этого вопроса в прошлый раз, — глубоко вздохнул Чаликов. — Но тогда нужно идти еще дальше. Если бесконечность, данную в виде единораздельной цельности, приписывать не действительности, а только человеческому мышлению, тогда действительность, лишенная такой структурной бесконечности, окажется даже и не дырой, а какой-то дырочкой. И это тем более дико, что действительность не только есть единораздельная цельность, но она еще ведь также существует во времени, она же еще и развивается, она ведь живая, и она тоже ведь движется.

— Конечно, и о дырочке ты заговорил правильно, и о необходимости объяснять движение действительности ты тоже заговорил правильно и вовремя. Скажи мне: если вещь движется, то не потому ли, что имеется причина ее движения, то есть какая-нибудь другая вещь, которая ею движет? Но то же надо сказать и об этой другой вещи. И так далее до бесконечности, то есть наш вопрос о причине движения остается без ответа, покамест движение одной вещи мы будем объяснять движением какой-нибудь другой вещи. А вывод такой. Либо в нашем объяснении подвижности вещи мы уходим в бесконечность причин этой подвижности, и тогда она остается необъясненной, непонятной и, попросту говоря, бессмысленной. (Тут, как говорят, возникает дурная бесконечность.) Либо где-то есть такая вещь, которая для своего движения уже не требует никаких других вещей, а движется сама от себя и сама для себя является причиной своего движения.

Здесь Чаликов глубокомысленно заметил:

— А почему же такой самодвижущей вещью не быть самой же этой вещи, движение которой мы объясняем?

— Можно. Но вещь, которая движет сама себя, означает только то, что она есть живая вещь, живое существо. Ведь что мы называем живым существом в отличие от неживой вещи? Именно то, что движет себя само.

— Значит, дескать, все одушевлено? — несколько испуганно заметил Чаликов.

— Ну для начала скажем, что если и не все, то, по крайней мере, кое-что, — сказал я. Но чтобы не уклоняться в сторону, я тут же вернулся к мышлению как к отражению: — Дорогой мой, дело же не в этом. Мы с тобой установили, что мышление есть отражение действительности. И еще установили, что мышление есть бесконечность. Теперь только подчеркнем: если действительность есть самодвижение (поскольку, кроме нее, и вообще нет ничего, а уж тем более нет ничего движущего), то, значит, и мышление тоже самодвижно, а иначе оно не будет отражением

действительности. Но я не это хочу сказать. Поскольку мышление есть смысловое отражение действительности, и его смысловая стихия творит себя самое, то это значит, что мышление состоит только в том, что оно устанавливает принципы своего движения, то есть принципы своего же собственного конструирования. Действительность движется и развивается. И это она делает сама от себя. Но ведь двигаться и развиваться можно только в каком-нибудь направлении: и при этом неважно, какие это направления, противоречат ли они друг другу или согласуются; неважно также, где, когда, почему и для чего существуют или не существуют эти направления. Все это только детали. Самое важное здесь то, что действительность сама для себя устанавливает направление своего развития (поскольку, кроме действительности, как я сказал, вообще ничего не существует); а это значит, что действительность строит сама себя, конструирует сама себя и создает принципы своего конструирования. Иначе она не будет создавать для себя свое движение и не будет в состоянии понимать смысл своего движения.

— А можно мне сказать так, — спросил мой собеседник. — Что значит понимать, например, самолет? Ведь это же не значит просто его видеть, просто слышать гудение его мотора или просто наблюдать его полезные и разрушительные действия. Понимает самолет тот, кто знает принцип его устройства и конструирования. Так ли я вас понял? Я хотел бы думать так: что как действительность создает принципы своего конструирования, так и мышление, будучи отражением действительности, тоже само строит для себя принципы своего конструирования. Так ли я вас понимаю?

— О любезнейший мой друг и приятель! — обрадованно воскликнул я. — Да ты же у меня золото, а не собеседник. Только вот я хотел развить нашу мысль о дырочке. Ведь если мы и все мыслительные типы конструирования, на которых базируются наука и техника, тоже припишем только одному человеческому субъекту и откажем в этом самой действительности, то подобного рода действительность, лишенная принципов своего собственного конструирования, окажется уже не просто дырочкой, но дырочкой весьма воинственной, окажется вселенским кладбищем идей, превращенных в трупы.

— Прекрасно, — сказал Чаликов с облегчением, — но только вот от нашего основного вопроса мы опять отклонились. Что же все-таки значит дело-то делать? Где оно, это дело, которое надо делать?

— А разве тебе мало того, что мышление есть постоянное созидание принципов конструирования?

— Мало. Очень даже мало, — сказал мой собеседник.

— Как! Не понимаю. Что же такое наконец дело-то делать? Ведь создавать принципы конструирования — разве это не значит понимать мышление не абстрактно, не как установку догматов, но как руководство к действию?

— А, это хорошо, — сказал тот.

— Но раз мы заговорили о действиях, то о действиях каких? Кто будет действовать?

— Конечно, действовать будет человек, — сказал Чаликов. — А вот о человеке-то мы до сих пор ничего не сказали. А ведь без человека любые глубокие мысли будут абстрактными, далекими от жизни. Ну, а что такое человек, это уже само собой понятно, правда?

— Постой, постой, — забеспокоился я. — Ты, я вижу, здорово разбираешься в этом деле. Научи-ка меня.

— Да чему же тут учить? Вы же сами знаете, как рассуждает на эту тему Аристотель. Ведь это он же сказал, что человек есть живое существо общественное.

— Ничего, ни одного слова в этом определении не понимаю.

— Как? Вы не знаете, что такое жизнь? Вы не знаете, что такое общество?

— Не знаю, не знаю, не знаю, — провоцировал я Чаликова.

— Но ведь ясно всякому, — сказал Чаликов, — что живое — то, что движется само собой. Жизнь, мне кажется, есть прежде всего самодвижение.

— Но мои часы тоже движутся сами собой, — сказал я.

— Если они заведены.

— Ага, значит, тебе мало одного механизма?

— Конечно, мало, — сказал Чаликов. — Если имеется механизм, это, во-первых, значит, что его кто-то сделал. А во-вторых, это значит, что кто-то привел его в действие. Если есть табуретка, значит, есть и столяр, который эту табуретку сделал. Я уже давно понял, в чем не прав механицизм. Он требует, чтобы существовал извне тот универсальный мастер, который заводит мировые часы, чтобы они двигались. Поэтому механизм возможен только при одновременном признании монотеизма.

— Ну а если монотеизм для нас не выход, — перебил я Чаликова, — тогда как? Придется думать, что материя сама себя движет, то есть что вместо монотеизма надо будет признавать какой-то пантеизм?

— Ну зачем идти так далеко? Ведь пантеизм — это уже какая-то религия. Да на мой вкус, подобного рода религия-то уж очень пустая, уж очень легковесная и бессодержательная религия. Не надо ни монотеизма, ни пантеизма, ни механицизма, ни всеобщего витализма. Достаточно будет сказать, что материя сама себя движет. Этого для нас достаточно. И все.

— Ладно, — сказал я. — Пусть. Значит, говоришь ты, самодвижность? Согласен. Пусть будет самодвижность. Но если становиться на такую точку, то, мне кажется, здесь ты еще очень многого недосмотрел. Мне, например, кажется, что жизнь есть прежде всего становление, то есть нерасчлененное, сплошное, непрерывное, неделимое ни на какие устойчивые и взаимораздельные точки становление. Жизненное становление нельзя составить из одних дискретных точек. Движение вовсе не есть сумма неподвижных точек. Это, как говорят математики, континуум.

— Это правильно, — сказал Чаликов. — Это обстоятельство — как раз такое, над которым — и сам не знаю почему — я именно много раз задумывался. Но скажу откровенно. Такое понимание представлялось мне каким-то иррационализмом. Этого иррационализма, признаться сказать, я всегда боялся, как дети боятся темноты.

— Но почему ты думаешь, — спросил я, — что жизнь есть только иррациональное движение. Во-первых, известно то, что именно движется: известно, как оно движется; известно наконец, и куда оно движется.

Чаликов здесь вдруг взял какой-то авторитетный и наставительный тон:

— Но не будет ли это, дорогой наставник, слишком большим нагромождением? Что касается меня, то в жизненном становлении, если я что-нибудь понимаю, то, пожалуй, это именно только «как», которым характеризуется самодвижный нерасчлененный процесс жизни. Но если я говорю о жизненном процессе как о таком, то не знаю ни того, что именно движется, ни того, куда и в каком направлении происходит процесс жизни. Ну, о самом исходном пункте жизненного становления я еще могу догадываться, потому что жизнь есть такое становление чего бы то ни было, когда это последнее целиком находится во всех пунктах становления. Жизнь есть развитие. А развитие не есть просто становление. Жизнь есть такое становление, в котором содержится и исходное становящееся, и то новое, что возникает в каждый момент становления. Это ясно. А вот чего я никак не могу понять, это того, когда вы говорите, что в жизненном процессе ясна и цель процесса. Сама-то цель, вероятно, существует. Но я сомневаюсь, чтобы она целиком была дана уже в любом моменте жизненного становления. Ведь тогда обесмыслилось бы само становление, раз его цель уже достигается в каждом моменте становления.

Тут я понял, что о жизненном процессе Чаликов и без меня думал много. И пожалел, что выразился о жизни слишком категорически. Здесь нужны бесконечные оговорки. А я не стал их делать, исходя из предварительности моих рассуждений. Это и заставило Чаликова взволноваться. Он почти закричал:

— Но тогда, по-вашему, всякая жизнь есть бессмыслица, раз она движется неизвестно куда.

— Если брать процесс жизни, как он создается в самом себе, то всякая жизнь, конечно, слепа, — уверенно сказал я. — Но дело в том, что в результате тех жизненных процессов, которые происходят в развитии растения, появляются вдруг листья, цветы и даже плоды. Но тогда и надо говорить, что жизнь растения не значит жизнь вообще, которая была бы бессмыслицей, но жизнь именно растения. Другими словами, цель растения находится выше самого процесса жизни, почему его и надо считать слепым. А с другой стороны, процесс развития растения переходит к цветам и плодам, а это значит, что цель растения присутствует даже в этом бессмысленном процессе жизни, но присутствует не целиком, а, так сказать, регулятивно, атрибутивно, а не вещественно-субстанционально.

Чаликов здесь облегченно вздохнул.

— Но тогда, скажите же на милость, о чем мы спорим? Выходит, и спорить-то не о чем?

— А я вовсе и не спорил, — отвечал я умиротворенно. — Я только враг неясной и обывательской терминологии. Что такое жизнь, никто не знает, хотя все живут. А мне мало жить. Я еще хочу и понять, что такое жизнь. А вот когда мы с тобой копнули эту мыслительную целину, то оказалось, что тут глубочайшая диалектика рационального и иррационального.

Жизнь нельзя составить из безжизненных, то есть неподвижных, точек. Жизнь есть прежде всего непрерывный континуум, в котором все слилось воедино до неузнаваемости. Поэтому жизнь, взятая в чистом виде, именно как только жизнь, а не что-нибудь другое, есть бурлящая и клокочущая бессмыслица, апофеоз безумия. Ведь в континууме каждая его точка исчезает в тот самый момент, в который она появляется. Не хаос ли это неизвестно чего? Конечно, жизнь не есть всегда только жизнь, а она всегда есть еще и жизнь чего-то. От этого «чего-то» она и получает свое осмысление, уже перестает быть слепым порывом. Поэтому, если мы хотим осмыслить жизнь, то нужно брать какие-нибудь идеи, которые не есть просто сама же слепая жизнь, но нечто такое, что выше жизни и потому может ее осмыслить. Но это-то как раз и значит, что жизнь как бессмыслицу мы обязательно должны учитывать. Ведь при любом ее смысловом наполнении она в каждое мгновение может прорваться наружу, поскольку тайно и для нашего сознания незаметно эта клокочущая в глубине магма всегда может прорваться наружу в виде действующего вулкана. Но вернемся к нашему человеку. Что такое жизнь и что такое живое существо, это мы сейчас пробовали распознать и кое-чего в этом достигли. Но ведь, определяя человека, ты сказал, что человек есть живое существо общественное. Почему ты так сказал?

— А что же, общество тоже вам непонятно?

— Что такое общество, это, допустим, мне понятно. Но ведь пчелы, например, тоже существа живые, и жизнь их, безусловно, общественная жизнь.

— Но я же не о пчелах говорю, а о человеке.

— Но тогда скажи, чем же человек отличается от пчелы?

— Ну конечно, тем, что он есть личность.

— Дорогой друг, тогда так и говори, что человек есть не просто общественное живое существо, но и общественно-личное живое существо. Да и личности, пожалуй, будет мало. Ведь в личности много такого, что вовсе не есть еще личность. Человек — личность, которая обладает своим телом и является принципом осмысления цельного организма. Но в организме много таких процессов и частей, которые не имеют никакого отношения к личности. Например, руку или ногу можно ампутировать, и от этого пострадает не только данный организм, но и личность, которая выражается в этом организме. Тем не менее, и после удаления руки и ноги личность продолжает существовать.

— Дорогой учитель, — поспешил меня успокоить Чаликов. — Конечно же, речь идет не просто об общественно-личностном существе, но еще и о разумном.

— Тогда ты скажи попросту, что твое определение человека или неправильно, или, по крайней мере, чересчур односторонне. Человек не есть только живое и общественное существо. Он есть живое общественно-личное и еще разумное существо. А ведь когда мы говорили о мышлении как об отражении действительности, мы пришли к выводу, что мышление есть созидание принципов конструирования жизни, то есть руководство к действию. И ты говорил, что в такой теории мышления еще нет ничего человеческого. Ну а теперь ты доволен?

— Сейчас я, несомненно, более доволен, чем раньше. — И у Чаликова на лице появилось какое-то маленькое раздражение — не то какая-то досада, не то какая-то суетливость, и он продолжал так: — Не очень ли мы много анализируем? Все это хорошо, я понимаю, но если человек хочет дело делать, нельзя же от него требовать, чтобы он предварительно изучил всю логику, всю диалектику, всю философию и без этого ровно ничего не мог бы сделать в

своем делании дела?

Тут я почувствовал, что Чаликов прав; но, чтобы его удовлетворить, решил кратко сформулировать то, что мы с ним говорили о человеке в отвлеченном смысле, а уже потом переходили к дальнейшему.

— Чаликов, — сказал я, — потерпи минутку. Ты понял, на чем мы с тобой остановились? Ведь мы установили, что без личности нет ничего. Личность — тайна одного. Но, может, ты захотел бы узнать, что такое тайна двух? Не знаю, поймешь ли ты меня. Но, ища тайну двух, я бы сказал, что это есть любовь, так только любящие видят друг в друге самое важное, самое существенное, что неведомо другим, нелюбящим. Брак — тайна двух. А коллектив как организм — тайна трех. А всеобщий коллектив как исторический организм, вечно стремящийся себя утвердить, — это тайна уже и не одного, и не двух, и не трех, но тайна всего человечества. Вот это ты запомни, — хотя, может быть, здесь пока еще и многое непонятно. Запомнил? Тогда я перейду к другим вопросам.

Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь ел, пил и спал или никогда?

Чаликов в ответ рассмеялся.

— Но если ты и ешь, и пьешь, и спишь, то все это делаешь ты в результате ли изучения физики, химии, биологии, анатомии, физиологии и медицины? Согласись, что все эти процессы жизни происходят у нас без всякой теории жизни, не говоря уже об отдельных науках и философии.

— Вот поэтому-то я и сомневаюсь, нужна ли теория делания дела для самого этого делания.

— Прекрасно, — сказал я. — Так и запомни: чтобы дело делать, не нужно сначала строить теорию этого делания дела. Ты должен дело делать так же прямо и — непосредственно, как ты ешь и пьешь без всякого знания процессов пищеварения. А иначе получится, что есть и пить могут только профессора физиологии. Тем не менее, однако, этот простой и непосредственно, без всякой науки, данный процесс пищеварения несколько не мешает тому, чтобы появлялась также и теория пищеварения. Ты ешь и пьешь без теории пищеварения, ведь музыкант-виртуоз тоже убил много лет на свою игру. А ведь эту виртуозность мы воспринимаем так же просто и непосредственно, как и белый цвет или как бездонную синеву неба. Настоящий художник тот, у которого мы не замечаем его усилий творчества, да и он сам этого не замечает. Гений творит как природа. Вот и дело делать надо незаметно и без всяких усилий. А если это трудно, то это означает только то, что в этом делании дела надо постепенно себя тренировать, надо постоянно воспитывать в этом и себя, и общественность. Не сразу, но зато верно и не на поводу у бесконечных случайностей жизни. Поэтому теория пищеварения, безусловно, необходима как теория и наука, как целесообразно направляемая практика, и в том числе хотя бы как возможность медицинского воздействия на плохое пищеварение. Почему же в таком случае ты не хочешь строить теории делания дела и сразу хочешь броситься в это делание? Не будет ли это с твоей стороны чересчур слепо? А ведь где в жизни слепота, там также и отсутствие перспективы. А где нет перспективы, там ведь и рабская зависимость от бесчисленных случайностей жизни. Там сплошное рабство. Если не хочешь быть рабом бесконечных случайностей и если хочешь, чтобы ты свое дело делал не слепо, то вот тогда и занимайся философией и не осуждай ее как бесполезное занятие.

— Я с этим согласен, — говорил мой собеседник. — Меня только смущает то, что не слишком ли много у нас получается идейности и нельзя ли тут поступать как-нибудь попроще?

— Но ведь ты же сам пришел ко мне с вопросом о том, что значит дело делать, — уверенно говорил я. — Если ты хочешь дело делать в том же виде, как ты ешь, пьешь и спишь, тогда зачем ты ко мне приходил? И прежде, чем ты ответишь на этот вопрос, я сам тебе скажу вот что. Тебя смущает, что при делании дела возникает уж очень много разных возможностей. Возникает бесконечное число разных типов реализации дела. Тебя смущает мысль о том, что достаточно ли жизненно наше мышление, чтобы при выработке принципов поведения не оказаться бесполезным и труднодостижимым предприятием. Но, кажется, я тут могу тебя несколько успокоить. Скажи, пожалуйста, ты кашу ешь?

— Не только ем, но и варю на плитке, охлаждаю и подогреваю, добавляю соли.

— А идею пищи ты тоже варишь и подогреваешь, тоже солишь и тоже ешь?

— Ей-богу, нет.

— Значит, кашу есть можно, а идею каши нельзя? Пропускать через свой желудок нельзя?

— А я же как раз вам и говорил, что одной идейности мало. Идея вещи, как вы сами сейчас сказали, совершенно невещественна.

— Это ты понял хорошо, — продолжал я. — Но тогда пойми и другое. Возьми движение вещи. Ведь скорость этого движения может быть разной?

— Конечно.

— И чем больше скорость движения тела, тем большее пространство проходит оно в одно и то же время?

— Ясно.

— Ну а если тело будет двигаться с бесконечно большой скоростью, — продолжал я, — тогда ведь тело займет сразу все точки, возможные на его пути.

— То есть вы хотите сказать, что в этом случае двигаться телу дальше будет просто невозможно, так как никакого «дальше» вообще не будет существовать.

— Вот этого-то я и хотел от тебя добиться. Согласись, что тело, которое движется с бесконечно большой скоростью и сразу охватывает все места, уже совсем никак не движется. Но тогда вещь, которая сразу охватила все точки своего движения и потому покоится, есть не что иное, как идея вещи. Идея вещи тоже сразу охватывает всю вещь. Согласен?

— Да! — ответил Чаликов не без колебания. — Но тогда ведь получается, что идея вещи есть, попросту говоря, сама же вещь, только в условиях своего бесконечно скорого движения.

— А вещь есть идея, но в условиях ее движения с какой-нибудь конечной скоростью.

— Значит, можно сказать, что абсолютно все есть идея, но только с разной скоростью своего движения, от нуля до

бесконечности?

— Совершенно правильно, — ответил я. — Но можно сказать еще и иначе, что, впрочем, будет одно и то же. А именно, можно сказать, что все на свете есть также и вещь, или материя, но только в условиях самой разнообразной скорости своего движения от нуля до бесконечности. Словом, так или иначе, но нет никакой возможности отрывать идею от материи или материю от идеи, как нельзя отрывать сущность вещи от явления вещи, и явление вещи от ее сущности. Сущность является, то есть проявляется, а явление существенно. Текущая сущность, — вот что самое главное. Разная степень смысловой напряженности существующего от нуля до бесконечности, — вот что самое главное. Я сажусь не на материю стула и не на идею стула, а на сам стул. Вот это «сам» и «само» как раз и есть самое главное. Понял? Не такое уж, значит, большое различие между идеей и материей. Но различие это огромно, и его надо уметь точно формулировать. Я думаю, что ты здесь, по крайней мере, многое понял. И тогда разреши еще ряд вопросов. Итак, говори мне. Мы стремимся?

— Стремимся.

— И постоянно стремимся?

— Да, постоянно стремимся. Вечно стремимся.

— И достигаем цели наших стремлений?

— Иной раз достигаем, — сказал Чаликов, — а чаще даже и не достигаем.

— И тем не менее стоит стремиться?

— Стоит стремиться.

— Но не потому ли, что стремление заложено в самой природе человека?

— По этому самому.

— Тогда скажи попросту, что человек — это проблема.

— О, конечно. Это проблема

— И вечная проблема?

— О да! Человек — это вечная проблема.

Но уже тут я почувствовал, что у Чаликова слабеет его возражение против слишком большой идейности наших разговоров о делании дела. Мне показалось, что он начинает понимать самое главное, что наша теория как раз и исходит из бесконечного разнообразия человеческих целей и что эти цели возникают из проблемного существования самого же человека. Предполагая подобного рода настроенность Чаликова, я продолжал свою мысль дальше:

— А скажи мне: ты дышишь или ты не дышишь?

Чаликов захихикал.

— Ну, а если ты дышишь, то воздухом или углекислотой?

— Воздухом.

— Ну, а что такое воздух для человека? Надеюсь, то, что надо для его существования?

— Само собой.

— Но ты сказал не только то, что человек мыслит для установления принципов действия, но и то, что это должно совершаться у человека само собой.

— Сказал.

— Тогда не понимаю, какой же более животворный воздух нужен для человека, если все его мышление только и направлено на созидание принципов конструирования, на руководство к действию, на переделывание действительности. Ведь действительность, думаю, ни от чего другого не зависит?

— Конечно, ни от чего другого не зависит, поскольку все другое, если оно существует, уже тем самым входит в состав самой же действительности.

— Хорошо. Значит, действительность, поскольку она ни от чего не зависит, свободна?

— Да, выходит, так. Действительность есть свобода.

— Ну или, по крайней мере, хотя бы искание свободы, становление свободы.

— Несомненно.

— Значит, дышать действительностью — все равно что дышать свободой.

— Да. Дышать свободой или, по крайней мере, ее исканием.

— Значит, свобода есть тот воздух, которым мы должны дышать?

— Как мне кажется, даже и не должны дышать, а просто дышим.

— И свобода эта, — сказал я, — не твоя или моя, а свобода всех.

— Я тоже думаю так. Ведь если не для всех, тогда всегда будет оставаться такая область жизни, которая несвободна и которая по этому самому всегда будет угрожать свободе.

— Другими словами, необходимо говорить именно об общечеловеческой свободе?

— Но как же иначе? Не дышать же углекислотой.

— И при этом заметь, — сказал я, — что ведь и вся история человечества есть не что иное, как эволюция свободы. Из-за чего бьется человек, из-за чего всегда бился? Только из-за отчаянного стремления к свободе, какие бы тяжелые обстоятельства этому ни мешали. Только бы освободиться от всех тягостей жизни. Только бы ни от чего не зависеть. Только бы скорей наступил этот всемирный, этот всечеловеческий праздник свободы. Только бы не было драки. Только бы наступил всеобщий мир, торжественный мир, всечеловеческий и космический мир, когда и человек перестанет быть человеку бревном, и сама природа так или иначе вступит в союз с человеком, а не будет мешать ему на каждом шагу.

— О, это сказано замечательно, — воодушевленно сказал Чаликов.

— Но тогда, — сказал я, — не получаем ли мы здесь ту разгадку делания дела, которую мы поставили целью нашего разговора? Человек — вечная проблема, которая вечно решается...

— И которая никогда не будет решена, — безбоязненно сказал Чаликов.

— Да, она никогда не будет решена. А зачем тебе окончательное решение? Чтобы перестать стремиться? Чтобы перестать быть проблемой? Чтобы умереть для жизни? Чтобы мне превратиться в гроб, в могилу, а всему человечеству превратиться во вселенское кладбище? Да, проблема человека никогда не будет решена. Разве мало того, что уже правильная постановка проблемы есть начало разрешения этой проблемы? Конечно, она так или иначе и в то или иное время будет разрешена. Но это только потому, чтобы достигнутое решение проблемы тут же оказалось постановкой еще новой проблемы. И так далее, до бесконечности.

— Но я бы сказал, что мне тут понятно еще кое-что, — был ответ. — Ведь даже если бы мы одолели смерть и, как учит Федоров, стали бы вечными, то мне кажется, что и сама вечность тоже будет находиться в вечном становлении, только что без убыли бытия, без антагонизмов, без крови, без драки.

— Ну, теория вечности — это особая проблема, которой мы пока что здесь еще не занимаемся, — сказал я. — Для меня пока достаточно уже одного того, что либо вечности нет никакой и о ней нечего говорить, либо она есть вечная молодость и никогда не изнемогает в приливе в ней живых сил. Об этом довольно. А вот насчет абсолютной истины — это необходимо нам сказать сейчас же. Раз все есть стремление, весь человек есть только проблема, да и весь мир есть только проблема, то для этой проблемности, чтобы о ней говорить логически последовательно, требуется также и беспроблемность, и притом тоже абсолютная беспроблемность, абсолютная истина. Она нужна нам потому, что иначе нельзя будет обосновать и всего нашего относительного и проблемного существования. Вот слушай, — тут я взял с полки том 18 Ленина и стал читать со страницы 138 громко и отчетливо: «С точки зрения современного материализма, т. е. марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной, абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель».

— Золотые слова! — восторженно воскликнул Чаликов. — Значит, чтобы дело делать, надо отражать действительность. А чтобы по-человечески, по-людски ее отражать, надо ее мыслить. А раз действительность есть бесконечность, то и мышление есть бесконечность. Если действительность всегда есть творчество нового, то и мышление, если только оно на самом деле мышление, тоже есть всегда творчество нового. Но творить новое — значит создавать принципы его конструирования, значит быть руководством к действию, значит, переделывать действительность. Но переделывает действительность человек. А тогда для этого необходимо общественно-личное существование, разумная деятельность; необходимо вечно стремиться, необходимо быть вечной проблемой, необходимо вечно разрешать эту проблему, необходимо исповедовать абсолютную истину, необходимо признавать действительность как свободное проявление абсолютной истины, необходимо в относительном находить абсолютное, необходимо дышать воздухом свободы, и свобода эта — общечеловеческая и окончательная.

— Ты, мой друг, здорово все это закруглил, — сказал я. — Только имей в виду истину, которую ты сам же и высказал. Для того, чтобы дело делать, не надо никакой предварительной философии. Тем не менее только философия и обнаруживает ту истину, что дело делать — это значит дышать общечеловеческой свободой, этой вечной общечеловеческой проблемой для ее свободных решений. Но я бы сказал, это значит просто быть приличным человеком. Без теории, а так, путем вдыхания воздуха, инстинктивно.

— Оно конечно. Так сказать можно и нужно, — ответил Чаликов. — Только вот как бы не стали смеяться, если мы скажем, что дело делать — это значит попросту быть приличным человеком.

— А если кто будет смеяться, ты ему объясни. Если монтер чинит звонки, то как бы хорошо и как бы добросовестно он это ни делал, это еще не значит дело делать. Ты ему скажи, твоему скептику, что дело делать — значит иметь перспективу. Вот что! А если тебя спросят, что за перспектива, ты скажи, что это есть свобода, добровольная свобода. Заставить нас нельзя. Мы поступаем только добровольно. И всякое необходимое принуждение я принимаю как акт моего собственного и вполне независимого решения. Если ты роешь картошку, то освободиться от этого не значит перестать рыть картошку. А это значит понять такое рытье как добровольно и чистосердечно совершаемый тобою акт общечеловеческой свободы и как твое собственное намерение, пусть маленькое, но зато вполне свободное, участвовать в свободном решении общечеловеческой проблемы освобождения. Вот это и будет значить дело делать.

— Да, оно конечно. Но ведь, пожалуй, тот, кто дело делает, и среди бытовой дребедени чувствует себя свободным и даже властителем. Бытовая дребедень для него — это заманчивая тайна, нежная тайна, трепетная тайна и любопытнейшая сказка.

— Хорошо, — сказал я. — На этот раз довольно. Если что будет не так, приходи поболтать.

— Очень, очень вам благодарен. Спасибо.

— И тебе тоже. Хорошо поговорили?

— Блеск! Сила.

— А в случае чего не поминай лихом.

— Ни бум-бум, — сказал он.

— И, по Пушкину, «не оспаривай глупца».

— А мне до этих глупцов как до лампочки. До скорого, — сказал Чаликов.

— До скорого.

Что такое чудо?

Чаликов вошел в мою комнату в каком-то расстроенном виде, поникший и даже несколько побледневший.

— Ну что, Чаликов? Опять зарвался? Опять не знаешь, куда деться? — сказал я благодушно и вовсе не желая

упрекнуть в чем-то Чаликова.

— Да, я, конечно, зарвался. Но все горе в том, что я не сам виной этого, а само оно. Понимаете ли? Само оно.

— То есть как это «оно само»? Мысль, что ли?

— Да, да. Конечно, мысль. Ведь нашему брату только от мышления и приходится зарываться. Больше не от чего.

— Ну и что же? — спросил я как бы рассеянно и как бы безразлично, хотя и догадывался, что у Чаликова что-то произошло.

— А то! Сегодня ночью я вдруг проснулся в состоянии какого-то волнения и даже болезни, взволновал меня не более и не менее как вопрос о том, что кругом меня творятся какие-то чудеса.

— Ну почему же это вдруг чудеса? А полегче разве ты не мог бы выбрать выражение?

— Не мог, именно не мог. И это не вопрос, а какая-то дубина, которой ударили меня по затылку. Дубина эта есть сведение всякого нашего чувственного восприятия на какое-то чудо.

— Чаликов, говори полегче. Говоришь ты сильно, но невразумительно.

— Да что там говорить! Ведь водород же не вода?

— И такие пустяки тебя взволновали?

— Нет, не пустяки. А в кислороде есть вода? Тоже нет. Значит, в водороде — нуль воды и в кислороде — нуль воды. А когда соединили два атома водорода и один атом кислорода, то вдруг появилась вода. Разве это не чудо?

— Знаешь, что я тебе скажу, Чаликов? Ты говоришь пустяки. И взволновался ты ночью тоже от какого-то пустяка.

— Ну какие же это пустяки? Ведь вы же утверждаете, что сумма нулей равняется единице или какому-нибудь другому числу, и говорите, что это не чудо, а только пустяки. Если из ничего появилось нечто, разве это не чудо? Ведь вся эта химия, которую мы долбили в школе, она же есть не что иное, как проповедь сплошного чуда. Скажите попросту, что всякая химическая формула всегда есть акт чуда, потому что она говорит о таком новом качестве, которое ни в какой степени не содержалось в составных частях этого предмета. Как же это вдруг у вас получается? Иван есть Иван, а не Петр; и Петр есть Петр, а не Иван. Но когда Иван и Петр сошлись вместе и стали пить чай, то оказалось, что нет ни Ивана, ни Петра, а есть еще какой-то Семен, то есть третий человек, который не похож ни на Ивана, ни на Петра. Да кроме того, Иван и Петр еще и исчезли при появлении Семена. И это вы не называете чудом?

— Чаликов, ты рассуждаешь очень механистически. Конечно, твой пример с Иваном и Петром говорит о самом настоящем чуде. Но этого же не существует на самом деле! А соединение водорода и кислорода — это явление вполне естественное.

— Вот, вот. Я тоже говорю о том, что чудо есть явление вполне естественное. И напрасно захаяли этот термин «чудо». Термин-то вы захаяли, а всю химию построили как науку о чуде.

— Ты слишком механицист и берешь вещи в слишком грубом и неподвижном виде. Ведь если ты рассуждаешь на основании учебников химии, то ты должен прекрасно знать, что водород существует не только в виде газа, но есть еще жидкий водород; и кислород вовсе не всегда только газообразен, а есть еще и жидкий кислород. Но если это действительно так, то в получении третьей жидкости из двух других жидкостей ты не имеешь никакого права находить что-нибудь чудесное. Это вполне естественное дело.

— Позвольте, позвольте. Я ведь вам говорю не о жидкостях, а говорю о превращении газа в жидкость. И не только это. Главное — то, что и водород и кислород, в каком бы виде вы их ни брали, в жидком или газообразном, все равно по своему качеству они ничего не имеют общего с водой, которая из них возникла и которая, между прочим, тоже вовсе не обязательно есть жидкость, но может легко превращаться и в твердый лед, и в газообразный пар.

— Но ты прибавь к этому еще и то, — сказал я, — что и другие внешнефизические свойства веществ тоже играют весьма немалую роль в вопросе о превращении одного элемента в другой. Так, например, масса вещества тоже мало о чем говорит по вопросу о переходе одного элемента в другой. Массы тел вполне можно исчислить арифметически, но о чудесной значимости четырех действий арифметики еще никто не говорил.

— Не понимаю, — отвечал Чаликов. — Как же это я вдруг должен расставаться с таким очевиднейшим и простейшим понятием, как понятие массы. Если рухнет понятие «масса», тогда ведь все мое чувственное восприятие превратится в какой-то непознаваемый туман. Массы тел, конечно, существуют. Но я не могу сводить их только на одни количества. Переход и превращение тел одного в другое вовсе не есть только количественное превращение. Это превращение — вполне качественное, вполне физическое и телесное.

Вот тут-то я и становлюсь в тупик. И на мое соображение о невозможности получения единицы из суммы нулей я у вас еще не нашел ответа.

— Ну а тогда нам с тобой будет необходимо порассуждать уже по-серьезному и совсем отвлечься от слепых чувственных ощущений. Ведь из тех же учебников химии ты прекрасно знаешь, что в основе материальных вещей находятся атомы, что эти атомы отличаются один от другого, что эти атомы обладают планетарной структурой и что они отличаются друг от друга именно структурой каждый раз своей планетарной системы. Свойства химических элементов меняются в зависимости от увеличения или уменьшения зарядов их атомных ядер, в том числе и от количества электронов, вращающихся вокруг атомного ядра. При соединении кислорода с водородом происходит соответствующее изменение как общего положительного заряда молекулы воды, так и количества входящих в состав этой молекулы электронов. Если бы ты не рассуждал механистически, то зависимость свойств химического элемента от определенной структуры его атома и точно так же — зависимость молекулы от составляющих ее атомов тебя несколько не удивляли бы, и никакого чуда ты здесь не увидел бы.

— Но, — сказал Чаликов, — атомистическое объяснение качества химического элемента опять представляет собой ничем не обоснованный скачок. Конечно, в основе слышимой мной мелодии лежат определенного рода движения волнообразной воздушной среды, воздействие этих волн на нашу барабанную перепонку и соответствующее раздражение слухового нерва. Но тот, кто слушает музыку, удивительным образом не мыслит ни воздушных волн, ни барабанной перепонки, ни слухового нерва. А иначе музыку могли бы слушать только профессора физики и

физиологии. Какая там атомная структура кислорода, я не знаю. А что такое кислород, знает всякий. Поэтому, как мне кажется, и атомное объяснение химического элемента или химических соотношений тоже основано на чуде. А иначе вы должны признать, что познавать кислород, водород и воду и пользоваться ими могут только профессора физики, да еще и не всякой физики, а обязательно еще молекулярной, атомной.

— Ну, я вижу, ты уж очень упорно задалбил о своем чуде. Я тогда тебе скажу так, что ты уже вовсе не сможешь мне возразить. Всякое целое таково, что оно, хотя и состоит из частей, вовсе не сводится на эти части, а есть некоторое новое качество, которое осмысляет собою все свои части, и из отдельных, изолированных вещей превращает именно в такие-то части и именно такого-то целого. Другими словами, получение нового качества из двух других качеств, не имеющих ничего общего между собою, есть просто результат применения диалектического закона единства противоположностей. Ты не диалектик. Поэтому тебе везде и грезятся только одни чудеса.

— Простите меня, мне это непонятно. Ведь вы же сами говорите, что от двух противоположностей должен произойти скачок совсем в другую сторону. Вот этот скачок я и называю чудом, потому что его ничем обосновать нельзя, а приходится его допускать как ничем не доказанный, но в то же самое время неопровержимый факт.

— Ты рассуждаешь неправильно, — ответил я. — Ты понимаешь элементы, из которых состоит диалектический переход, слишком изолированно и слишком статично. Конечно, если в водороде содержится только нуль воды и то же самое — в кислороде, то возникновение воды из кислорода и водорода окажется каким-то чудом. Однако все дело в том и заключается, что понятия, которыми оперирует диалектика, вовсе не являются какими-то мертвыми и неподвижными камешками. В каждом элементе целого уже заложено само целое, заложена его возможность. И вообще, вовсе не существует таких сущностей, которые были бы целиком оторваны от своих проявлений и не содержали бы в себе ровно никакой подвижности. Те противоположности, которые путем скачка переходят в неделимое единство этих противоположностей, еще до скачка уже содержат в себе способность этого скачка, его возможность, его зерно или семя.

— Но если так, то и в химии каждый элемент тоже не берется в мертвом и застывшем виде. В химии существует даже такой фундаментальный термин, как «валентность». А валентность и есть способность атома вступать в разные связи с другими атомами.

— Но тогда я не знаю, против чего ты возражаешь, — ответил я. — Если хочешь, так можно и сказать, что каждое диалектическое понятие обладает определенным рода валентностью, которая обеспечивает для него его переход в другое понятие и, в частности, скачок от противоположностей к их диалектическому единству, по своему качеству не имеющему ничего общего с теми противоположностями, из которых оно произошло.

— Конечно, диалектикам волей-неволей приходится понимать свои диалектические понятия как в принципе потенциальные для других понятий, или как валентные. Но ведь одной валентности очень мало для получения скачков. Ведь в химии мы имеем дело не просто с валентностью вообще, но существуют только конкретные валентности, которые определяются каждый раз своим собственным содержанием. Валентность всегда определенным образом целенаправленна. А целенаправленность атома зависит от его структуры. Изомеры в химии — это такие химические соединения, которые, с одной стороны, имеют одинаковый состав и молекулярный вес, а с другой стороны — различаются по своей структуре, и вот это-то структурное различие и ведет к появлению у изомеров различающихся химических и физических свойств, то есть к появлению разных веществ за счет структурно разного строения единых по составу молекул. Так, например, существуют две принципиально различающиеся по своим физическим и химическим свойствам кислоты, малеиновая и фумаровая, все различие которых, с точки зрения их молекулярного строения, состоит только в изменении структурного места одного из элементов молекулярной цепочки, в изменении геометрического положения этого элемента относительно центральной оси структуры молекулы. Значит, если вы хотите сохранить в целостности свою теорию диалектики, вы должны признать, что диалектические понятия не только валентны, но и структурно-валентны.

— Но как же это может быть иначе? — сказал я. — Само собой разумеется, что диалектические понятия не только подвижны, но и целесообразно подвижны. Иначе ведь диалектическое развитие будет лишено всякой структурности и превратится в хаос противоборствующих противоположностей.

— Вот видите: свою диалектику вам волей-неволей приходится приближать к учению о чуде.

Но тут я стал горячиться, и вышло много разных мыслей, но все они свелись к одной.

— Это не чудо, но простой живой организм. Ведь во всяком организме целое не только существует в каждой своей части, но и определяет каждую свою часть. Живому организму необходимы мозг, сердце, легкие. Разве это не структура организма? И если мы говорим, что организм, взятый как целое, определяет собою каждую свою часть, разве мы в таком случае не говорим о структурной природе организма? Если хочешь, я могу только сказать, что диалектические понятия не только статичны, поскольку определяются всякий раз в смысловом отношении, и не только динамичны, поскольку каждый раз создают еще и нечто иное, кроме себя, но обязательно еще и органичны, поскольку именно из них появляется организм, цельный и неделимый по своему существу, но представленный в виде целесообразно расположенных органов, несущих на себе смысловую силу всего организма.

— Так, так. Все это очень хорошо. Все это значительно углубляет и утончает обывательское представление о диалектике. Но даже и с такими добавлениями я все же продолжаю считать, что подобного рода диалектика только искусственно старается избежать понятия чуда.

— Ну, ну. Говори, в чем дело.

— А дело вот в чем. Вы, небось, не станете отрицать, что существуют машины. А что такое машина? Говоря обыденным и прозаическим языком, это есть приспособление или устройство, благодаря которому один вид энергии переходит в другой вид энергии. Подобного рода определение, конечно, звучит вполне обыденно и вполне прозаично. Но дело вот в чем. Простейшая машина — это рычаг. Говоря попросту, имеется неподвижный и тяжелый камень, который я не в силах приподнять. Но я беру в руки какой-нибудь длинный металлический кол, один конец этого кола

я помещаю под камень, а на другой конец начинаю давить вниз. И оказывается, что неподвижный, тяжелейший камень, который не поддается никаким человеческим усилиям для его поднятия, вдруг поднялся. Что же случилось? Вы скажете, что и при пользовании рычагом я все равно должен затратить какое-нибудь усилие; да, усилие я затрачиваю, но благодаря действию рычага это мое усилие получило совсем другую структуру. Вот эта-то структура и оказалась той силой, которая фактически приподняла камень. Но в чем же тогда дело? А дело в том, что невещественная структура производит вещественное действие. Это я и называю чудом.

— Постой. Почему ты считаешь, что рычаг есть невещественная сила? В нем все решительно вещественно, с начала и до конца. Да и твое усилие, при помощи которого ты нажимаешь на один конец рычага, тоже вполне вещественно.

— Ну какая же это вещественность, если из суммы нулей опять получилась у вас единица? Если вам это непонятно на рычаге, возьмите ту машину, которая называется системой блоков. И тут опять-таки груз весит сто килограммов, поднять его на высоту человеческого роста никто не может: а если он будет подвешен на канат или цепь, проходящие через известное количество блоков, то я, стоящий на другом конце этого ряда блоков, и с небольшим усилием, направленным на канат или цепь, поднимаю этот груз при самой ничтожной затрате своей энергии. И почему? А потому, что затраченное в данном случае человеческое усилие получило своего рода структурное строение, то есть просто потому, что невещественная структура оказала огромное вещественное действие. И что же, это не чудо?

— Все-таки, если говорить о чуде, то я говорил бы иначе, — ответил я. — Ведь когда при помощи системы блоков ты поднял огромный груз на большую высоту, это же не значит, что тут действовала какая-нибудь новая сила, кроме той, которую ты затратил. Твоя энергия осталась той же самой, которую ты применял без системы блоков и при помощи которой не мог сдвинуть груз с места. И та новая структура, которую получила бы энергия при использовании блочной системы, оказалась неотделимой от блочной структуры, а действие блочной структуры оказалось неотделимым от твоего энергетического акта. Следовательно, источник чуда совершенно неотделим от оформления того естественного материала, на котором это чудо проявилось. И тогда ты будешь прав, если скажешь, что все на свете есть чудо, но что в то же самое время все на свете вполне естественно. То, что люди называют чудом, есть просто неизвестное им структурное действие вполне естественной действительности.

— Но тогда и к вашему определению диалектики вы должны кое-что прибавить, — сказал Чаликов. — Вы должны говорить, что диалектическое развитие не только требует повсеместного (пусть и разностепенного) органического развития, но что этот всеобщий организм еще пронизан вовсе не материальными, а чисто структурными излучениями силового поля, без которых вообще невозможно объяснить взаимодействие отдельных и взаимно изолированных неподвижных вещей.

— Пожалуй, я с этим мог бы согласиться. Но только тебе придется отказаться от всемогущества чудес.

— А вам придется отказаться от диалектики как от чисто логической системы понятий. Если вы согласитесь, что диалектические понятия не статичны и не динамичны, но органичны, то это значит, что ваши диалектические понятия есть особого рода живые существа, которые не только излучают из себя определенную силу, но эта сила всегда еще и структурно оформлена, всегда целесообразна и всегда достигает того, что ей надо. Правда, такое употребление диалектических понятий мало чем отличается от фиксации их чудотворного действия. Но я согласен не говорить о чуде, если вы согласитесь признать, что диалектические понятия суть определенного рода живые существа.

— Видишь ли, — сказал я, — ты заставляешь меня понять диалектическую структуру как-то фетишистски. Диалектические понятия суть действительно живые существа, но это не фетиши и не какие-то демоны.

— Но все-таки эта мысль нуждается в уточнении, — сказал Чаликов.

— Тогда слушай дальше: ведь мышление есть отражение действительности, а действительность бесконечна, следовательно, и мышление бесконечно. Действительность движется сама собой, самодвижна. Но мышление есть отражение действительности. Следовательно, и мышление самодвижно. Действительность создает все то, что в ней есть, и на каждом шагу порождает все новое и новое. Следовательно, и мышление есть творческая сила, вечно порождающая собою все новое и новое. Поэтому, если мы говорим о том, что мысль порождает или переделывает действительность, то это мы говорим только потому, что хотим брать мышление в его полном объеме. Оно может порождать и переделывать действительность именно потому, что оно отражает собою саму действительность и подражает ее творческой силе. Но тогда избежать фетишизма или демонизма можно только в том единственном случае, если мы ни на одно мгновение не будем забывать, что мышление есть отражение действительности, то есть смысловая структура действительности, а не просто сама действительность в ее чисто субстанциальном или чисто вещественном состоянии. Если мышление возникает из вещей как их структура и смысл, то в этом случае никакая творческая сила мышления не будет страшной. Поэтому и смысловая структура действительности мне не страшна — она заложена уже в самой действительности и в мышлении только впервые проявляет себя. Другими словами, мышление есть тоже какой-то этап действительности, при помощи которого действительность только и может переделывать себя принципиально, то есть быть творческой. Другими словами, для объяснения смысловой структуры, действующей в вещах, вовсе не нужны демоны и фетиши, а значит, они не нужны и для толкования живой органичности диалектических понятий.

— А тогда, — сказал Чаликов, — если диалектические понятия не движут сами себя и не двигают ничего прочего, то кто же и что же двигает ими?

— А зачем тебе надо, чтобы кто-нибудь двигал или вообще что-нибудь было движущей силой? Мне кажется, ты слишком абсолютно разрываешь идею и материю. А вот Энгельс говорил, что идея, овладевшая народными массами, становится материальной силой.

— Но тогда дело для вас обстоит еще хуже, то есть хуже, чем в случае признания чуда. Ведь если идея, овладевшая народными массами, становится материальной силой, то уж тем более идея, овладевшая всей действительностью, тоже становится материальной силой. И тогда, во-первых, вся действительность только и состоит из чудес, а во-

вторых, от такой действительности уже совершенно некуда будет деться ввиду ее абсолютности. Правда, отсюда вполне легко впасть в объятия абстрактного идеализма. Но вы, конечно, не впадаете. А все-таки идею и материю в конечном счете придется признать только отдельными сторонами цельной и неделимой действительности. Фетишей и демонов не будет потому, что они в конечном счете тождественны с материальной действительностью. Поэтому, как мне кажется, мы можем согласиться на том, что чуда нет в смысле детских сказок, но чудо есть в смысле самодвижной материальной действительности.

— Вероятно, я тоже так думаю, — ответил я. — Но только тогда я уже не буду абсолютизировать действительность до такой степени, чтобы с ней нельзя было бороться. В ней слишком много зла и слишком много всего отвратного, чтобы я мог оставаться спокойным при созерцании самодвижно развивающейся материальной действительности. Никакая содержащаяся в ней идеальность, не мешает мне бороться за лучшее будущее. Чудо есть действие невещественной структуры на вещь, которая обладает этой структурой. Но поскольку ничего невещественного не существует вне вещества либо существует в зависимости от него как его смысловое отражение, постольку никакими чудесами нас не испугаешь. И главное, не испугаешь нас в борьбе за общечеловеческое свободное и мирное благоденствие.

После этого мы еще долго говорили с Чаликовым, но, как мне кажется, ушел он от меня более спокойным, чем пришел.

— До скорого, — сказал он.